

В РОМАНЕ «Игра» Юрий Бондарев обращается к кардинальным вопросам развития современного мира, включая вопросы экологического опустошения, ядерной угрозы и т. п. Говорю «включая» потому, что даже эти вопросы являются ответвлениями еще более коренной проблемы человеческого бытия в целом. Писатель подходит к изображению радостей и горестей текущей жизни с тем же масштабом, что и Леонид Леонов в эпохе из новых произведений, опубликованных в 1974, 1979 и 1984 годах. Отсюда — постоянные соотнесения в «Игре» симинутного с безднами галактик, светом далеких звезд. Как мы помним, эти образы, картины, лучи присутствовали и в предыдущих романах Юрия Бондарева — «Берег» и «Выбор», так же, как

НА ПРАВАХ

ставились там почти все вопросы, затрагиваемые в «Игре». Но здесь они выступают глубоко эшелонированно, вытекая из противоречий, гремящих весь мир, и завязываясь в узел, распутать который пытаются герои романа. Трагическая напряженность действия, развертывающегося на страницах романа, не мешает автору строить его по законам музыкального творчества, на параллельном развитии, переплетении, столкновении различных сквозных мотивов. Один из них связан с изображением Ирины Сковрцовой, другой — Тани Крымовой. Достигается музыкальность повествования и с помощью многочисленных лейтмотивных картин, сцен, отдельных формул.

При нынешнем увеличении многомотивностью, эпопеейностью, панорамностью «Игра» выглядит почти повестью. Но это не повесть, а именно роман. Не «политический», или «военный», или «бытовой», а всеобъемлющий роман, запечатлевший современное состояние мира с его самыми главными радостями, надеждами и неуемной тревогой, не покидающей ни одну чуткую душу на земле. И, как предыдущие два больших произведения Юрия Бондарева, это роман-спор, роман-диспут, поскольку писатель не просто рисует текущую действительность, но ищет в ней ответы на вопросы, от правильного решения которых зависит судьба человечества.

Наиболее удавшиеся писателю характеры советского кинорежиссера Вячеслава Крымова и американского кинорежиссера Джона Гричмара создаются на сходных, хотя в основе своей противоположных доминантах, порожденных обостренным ощущением катастрофальной опасности, нависшей над всем родом людским. Джон Гричмар выражает эту опасность понятием научно-технического прогресса, уравниваемого со словом «Бомба». Разделяя опасения своего коллеги, Вячеслав Крымов убежден: правда истории заключается в том, что «Америка сейчас несет всему миру разразит духа и великую ложь», именуемую «сверхцивилизацией и истиной»,

сблизает мировое обывателя «мишурой, красивой упаковкой, застёжками, пуговицами», заражает людей губным прагматизмом, выдает им комфорт за цель жизни, одуряет наркотиками, кривыми идеями, идеями «назад», «воспринимает войны как черту современной жизни», что постепенно превращает человека в пустыню. И если на земле есть сила, способная спасти мир и человечество, так эта Россия, — утверждает Крымов.

«Как? — спрашивает он и отвечает: — Не знаю. И через столько лет — не знаю. И какими жертвами — не знаю. Но, может быть, в ней заложены мировые основы всего мира. Может быть... Америке этого не дано. Там разразит духа уже произошло. И заключено полное соглашение с дьяволом...»

Трижды повторенное «не знаю» объясняется тем, что Крымов глубже и шире, нежели

Джон Гричмар, представляет себе сложившуюся в мире катастрофальную ситуацию. Сознывая всю опасность Бомбы, он в не меньшей, а порой, кажется, в еще большей мере обеспокоен угрозой, которую несут человечеству экологическая недостаточность и особенно получающая всеразрушающая эрозия нравственных основ в XX столетии.

Выдвинутые в центр повествования фигуры людей талантливых, умных, проницательных позволяют сопоставить разные взгляды на судьбы мира без упрощений, огрублений, а также добиться того, что находящаяся в объективе писателя советская действительность выступает в соразмерности с ходом жизни на всей земле.

В пример философам, социологам, литературным критикам Крымов предлагает, что, прочесть этот роман, непрерывно развивающийся снизу вверх, не говоря уж о том, что он не всеохватен. Отвечая на вопрос Ирины Сковрцовой, почему среди советских людей (оговоримся: речь в романе все время идет не о рабочих, не о колхозниках, а о среде художественной интеллигенции) немало завистников, эгоистов, жеманов, клеветников, анонимщиков, шептунов, болтунов, взяточников, протекционистов и т. п., почему «люди так жестоки и недоброежелательны друг к другу», — Крымов говорит: «Мы, Ирина, идеализируем человека, а он еще сознанием до многого не дорос».

Крымов вообще затрагивает непростые проблемы. От неко-

торых из них, полагаю, сделается неугодно многим читателям, будь они философы, социологи или литературные критики. Вот тот же новый человек... Конечно, как кинорежиссер, он волнуется Крымова профессионально. Но еще больше волнует как бывшего фронтовика, как советского гражданина, наконец, как истинного интеллигента, ибо Крымов, несомненно, тип русского интеллигента в самом высоком значении этого понятия, человек с предельно обостренной совестью, живущий всеми болями и радостями мира и чувствующий себя лично ответственным за его несовершенство. «Многого до многого не доросли», — говорит он. Это бы не беда. Не доросли, так дорастут со временем. Но писатель предостерегает от столь беззаботного подхода к решающей проблеме. Сложившаяся в мире ситуация не позволяет нашему обществу терпеть вся и всех — именно такое «терпение» и всепрощение и приводит к гибели Ирину Сковрцову, а затем и самого Крымова. В этом отношении роман острокритичен.

Перед читателем проходят один за другим люди, не способные дорасти до настоящего человека, ибо сами давно удружили его в себе. Это и тайно расположенный к гостям директор киностудии Балабанов, и астаматически свистящей одышкой, с олеянного цвета глазами, то и дело засучивающий рукава на бревенчатых волосатых руках, повторяя нелепую фразу: «На-д-с, дорого стоит контрабас!». И свинцовый ортодокс на костылях в прямом и переносном смысле, «страж фантастической жизни в искусстве» и «эстет собственной безопасности» Пескарев, создавший себе неуязвимую броню из святых понятий и категорий. И убежденный в том, что «несправедливость была и будет», не

брезгающий ни доносом, ни вымогательством взятки директор, картины Молочков, а годы войны по добrote душевной опасенный от расстрела Крымовым! И просто-напросто негодный шофер Гулин, пытающийся не только свалить собственную вину на Крымова, но еще и вместе с Молочковым сорвать с него четыре тысячи рублей. Разве мало таких развелось в последние годы и в технике, и в науке, и в литературе? И не из-за них ли мы начинаем отставать от потребности времени далеко не в одной какой-либо области? Тем удивительнее, что все они не рассматриваются Крымовым сами по себе как решающее зло. Вероятно, поэтому даже в минуты их предельной агрессивности он испытывает к ним не столько ненависть, сколько безразличие. Он видит в них нечто случайное для нашего об-

щества. Они выдвинулись и заняли несоответствующее место единственно в силу образовавшегося в результате последней войны вакуума. Захватив непокорное им, они, однако, становятся силой, опасной для развития нового общества, ибо не отвергнут способность усилить атмосферу подозрительности, недоверия, недоброежелательства, разочарования, нигилизма, поражающих иногда и честных людей в нашей стране.

Непримиримое отношение к подобным явлениям превращает некоторые из диалогов Крымова в цепь афоризмов, тяжелых, но неотразимых:

«Наждому из нас при жизни не хватает воли быть самим собой». «...Мы еще не выдвинули себя раба». «Мы слишком воспитаны для того, чтобы говорить друг другу правду». «Да, мы слишком осторожны... до отвращения».

Порой Крымов обнаруживает и в самом себе рецидивы подобных качеств, хотя в романе именно он прежде всего противопоставлен и Балабанову, и Молочкову, и Пескареву. Мастерски пользуясь внутренним монологом, не собственно прямой речью, подтекстом, Юрий Бондарев достигает углубленной разработки характера Крымова в психологическом плане: перед читателем встает человек недолжного ума, сложный, но очень чуткой души.

Углубляясь в роман «Игра», мы без труда улавливаем отличия автора и на НТР; и на вопросы ядерной угрозы, демографического взрыва, сильнее других волнующие А. Леонова; и на опасения экологического коллапса, пронизывающие советскую литературу со времени появления произведений М. Пришвина, «Русского леса» А. Леонова, рассказов, повестей К. Паустовского и вплоть до повествова-

ния «Царь-рыба» В. Астафьева; и на то, о чем сигнализировали Человечеству своим творчеством В. Солоухин, Е. Носов, Ф. Абрамов, В. Распутин и другие писатели — «деревенщички», усиленно привлекавшие внимание к «совести», и на то, что не давало покоя Ю. Трифонову. Как бы ступая все эти вопросы и поднимая их разработку на более высокий уровень, Юрий Бондарев ставит акцент на том, что вообще было названо нравственным обмелением людей. Он показывает конкретные его проявления как в противостоящем социализму мире, так и в нашем обществе. Главнейший положительный герой писателя даже считает, что угроза нравственного парализма не уступает ни ядерной, ни экономической опасности, сказать больше, она может догнать человека начисто, даже если его мучит ядерное пламя. Крымова мучает прогрессирующий дефицит милосердия, доброты, чуткости, отзывчивости, благожелательности, бескорыстия, настоящей любви к миру, к жизни, к земле, к истории у людей, не говоря уже о дефиците желания быть правдивыми, честными в каждом слове, в каждом поступке, умения говорить правду и делать самоотверженно и вдохновенно то, что нужно жизни, а не только тебе одному. Он не может об этом не думать и потому, что такова его натура, и потому, что видит много бесположающего в окружающей жизни, наконец, потому, что его спрашивала об этом не однажды действительно чистая, честная и бескорыстная артистка Ирина Сковрцова («Вы — девочка из другого мира, — сказала ей однажды Крымов. — Из другой Галактики. С летающей тарелки»), возможно, и погибшая, потому, что он не смог убедительно и вовремя ответить на ее вопросы.

Трагическая гибель Ирины Сковрцовой в день, когда Крымов ждал от нее положительного ответа на предложение сыграть главную роль в его новом фильме, породившая волну слухов и подозрений, будто он повинен в ее смерти, интенсифицировала его размышления, вдруг сразу обнаружив их совершеннейшую неотложность.

Случайно или не случайно утонула Ирина Сковрцова?.. Крымов не домогался ее любви, как шепчут обыватели, не допустил никакой бестактности в отношениях с нею.

«Что тянуло меня к этой слабой и сильной девочке? — будет потом спрашивать он самого себя. — Боунасте? Жалость? Разгадка тайны? Или тяга и талант ее необычной неженственности, которая уже редность?»

Не теряя своей конкретности, образ Ирины Сковрцовой под пером Юрия Бондарева вырастает в символ, совершенно самостоятельный и вместе с тем заставляющий вспоминать и знаменитую «слезинку ребенка» у Достоевского, и «черное небо» у Шолохова. Автор рисует образ Ирины Сковрцовой, этой, быть может, последней Офелии на земле, очень тонким пером, растущим ее с особенной осторожностью и тщательностью. И это данотно: перед нами олицетворение самой жизни в ее наиболее светлых, прекрасных и таких хрупких, таких незащищенных чертах. Внутреннее богатство, проявляющееся во всем, что вспоминается Крымову в связи с Ириной Сковрцовой (а образ создается исключительно с помощью цепи рефлексий), настолько значительно, что, повторяю, сам образ превращается в олицетворение, в грандиозный символ человечности, незащищенной в современном мире, и одновременно в своего рода гигантский экран, на который проецируется все, что видит вокруг себя и внутри себя главный герой произведения, все горести и радо-

сти современного мира, когда и где человек свернул или сворачивает с пути истинного. И я вместе со всеми...». А отвечая на тяжкое заключение-афоризм Стишова: «Все мы, Вячеслав, прожили жизнь не так, как хотели бы», — доходит даже до утверждения, будто большинство людей на земле не живет по-настоящему, а играет в жизнь.

«Свобода и обстоятельства», «Правда и обстоятельства» — решение этих соотношений дается Крымову просто и нелепо. Подчас он готов поверить: «Да, да, все мы пенники обстоятельств».

«Смешно! — говорит он самому себе. — Подвижники и правдолюбцы устали. Справедливцы притомились и надоели, от них отмахиваются, им лишь сочувственно улыбаются. Но все-таки в минуты отчаяния я вспоминаю одного бескомпромиссного человека в истории, мученика и страдальца, которому равных нет. Кто дал ему веру, одержимость — господь бог? Кто дал веру мне, иверующему. — искусство? Протопоп Аванкум? И по каким законам проявление ничтожества, жалкой низости может воздвигать на душу с такой же силой, как и великая трагедия? Аванкум, неустойчив в чувствах протопоп Аванкум, святой, и хилый духом современный мир, судорожно желающий развлекаться, будто накануне апокалипсиса».

Они следуют за ним неотступно, своя с ума Как говорит, у его ум за разум заходит: «О чем я думаю? Протопоп Аванкум, плюс Пигаль, девицы в студенческих куртках, плачущий инвалид в коляске... И четыре тысячи, и неутомимо сжатый рот Молочкова? Какая связь? Где Варняны и армячки. Так или приблизительно так было уже в Древнем Риме. И, может быть, было всегда, всю историю? Нет, даже после войны такого крайнего ощущения безумия не было. Что делать? Куда двигаться все?»

Решая кардинальную проблему нашей эпохи в целом, говоря самому себе и окружающим, что делать, Крымов выносит в общий знаменатель сложнейшего уравнения то, что в разговоре с отцом сын Валентин выразил словами: «Ты хочешь в наш прагматический век, чтобы люди, бесильные мурвалышки, задумались о смысле жизни, о красоте, о душе друг друга?»

Действительно, Крымову кажется, что выход в том, чтобы каждый человек и все люди вместе сделали резкий рывок в раз-

решение этих соотношений дается Крымову просто и нелепо. Подчас он готов поверить: «Да, да, все мы пенники обстоятельств».

«Смешно! — говорит он самому себе. — Подвижники и правдолюбцы устали. Справедливцы притомились и надоели, от них отмахиваются, им лишь сочувственно улыбаются. Но все-таки в минуты отчаяния я вспоминаю одного бескомпромиссного человека в истории, мученика и страдальца, которому равных нет. Кто дал ему веру, одержимость — господь бог? Кто дал веру мне, иверующему. — искусство? Протопоп Аванкум? И по каким законам проявление ничтожества, жалкой низости может воздвигать на душу с такой же силой, как и великая трагедия? Аванкум, неустойчив в чувствах протопоп Аванкум, святой, и хилый духом современный мир, судорожно желающий развлекаться, будто накануне апокалипсиса».

Они следуют за ним неотступно, своя с ума Как говорит, у его ум за разум заходит: «О чем я думаю? Протопоп Аванкум, плюс Пигаль, девицы в студенческих куртках, плачущий инвалид в коляске... И четыре тысячи, и неутомимо сжатый рот Молочкова? Какая связь? Где Варняны и армячки. Так или приблизительно так было уже в Древнем Риме. И, может быть, было всегда, всю историю? Нет, даже после войны такого крайнего ощущения безумия не было. Что делать? Куда двигаться все?»

Решая кардинальную проблему нашей эпохи в целом, говоря самому себе и окружающим, что делать, Крымов выносит в общий знаменатель сложнейшего уравнения то, что в разговоре с отцом сын Валентин выразил словами: «Ты хочешь в наш прагматический век, чтобы люди, бесильные мурвалышки, задумались о смысле жизни, о красоте, о душе друг друга?»

Действительно, Крымову кажется, что выход в том, чтобы каждый человек и все люди вместе сделали резкий рывок в раз-

решение этих соотношений дается Крымову просто и нелепо. Подчас он готов поверить: «Да, да, все мы пенники обстоятельств».

«Смешно! — говорит он самому себе. — Подвижники и правдолюбцы устали. Справедливцы притомились и надоели, от них отмахиваются, им лишь сочувственно улыбаются. Но все-таки в минуты отчаяния я вспоминаю одного бескомпромиссного человека в истории, мученика и страдальца, которому равных нет. Кто дал ему веру, одержимость — господь бог? Кто дал веру мне, иверующему. — искусство? Протопоп Аванкум? И по каким законам проявление ничтожества, жалкой низости может воздвигать на душу с такой же силой, как и великая трагедия? Аванкум, неустойчив в чувствах протопоп Аванкум, святой, и хилый духом современный мир, судорожно желающий развлекаться, будто накануне апокалипсиса».

Они следуют за ним неотступно, своя с ума Как говорит, у его ум за разум заходит: «О чем я думаю? Протопоп Аванкум, плюс Пигаль, девицы в студенческих куртках, плачущий инвалид в коляске... И четыре тысячи, и неутомимо сжатый рот Молочкова? Какая связь? Где Варняны и армячки. Так или приблизительно так было уже в Древнем Риме. И, может быть, было всегда, всю историю? Нет, даже после войны такого крайнего ощущения безумия не было. Что делать? Куда двигаться все?»

Решая кардинальную проблему нашей эпохи в целом, говоря самому себе и окружающим, что делать, Крымов выносит в общий знаменатель сложнейшего уравнения то, что в разговоре с отцом сын Валентин выразил словами: «Ты хочешь в наш прагматический век, чтобы люди, бесильные мурвалышки, задумались о смысле жизни, о красоте, о душе друг друга?»

Колелания, сомнения, близкие к отчаянию, не покидают и Крымова. Но, преодолевая их, он упорно прорывается к чуть брезжащей перед ним истине.

«Свобода и обстоятельства», «Правда и обстоятельства» — решение этих соотношений дается Крымову просто и нелепо. Подчас он готов поверить: «Да, да, все мы пенники обстоятельств».

«Смешно! — говорит он самому себе. — Подвижники и правдолюбцы устали. Справедливцы притомились и надоели, от них отмахиваются, им лишь сочувственно улыбаются. Но все-таки в минуты отчаяния я вспоминаю одного бескомпромиссного человека в истории, мученика и страдальца, которому равных нет. Кто дал ему веру, одержимость — господь бог? Кто дал веру мне, иверующему. — искусство? Протопоп Аванкум? И по каким законам проявление ничтожества, жалкой низости может воздвигать на душу с такой же силой, как и великая трагедия? Аванкум, неустойчив в чувствах протопоп Аванкум, святой, и хилый духом современный мир, судорожно желающий развлекаться, будто накануне апокалипсиса».

Они следуют за ним неотступно, своя с ума Как говорит, у его ум за разум заходит: «О чем я думаю? Протопоп Аванкум, плюс Пигаль, девицы в студенческих куртках, плачущий инвалид в коляске... И четыре тысячи, и неутомимо сжатый рот Молочкова? Какая связь? Где Варняны и армячки. Так или приблизительно так было уже в Древнем Риме. И, может быть, было всегда, всю историю? Нет, даже после войны такого крайнего ощущения безумия не было. Что делать? Куда двигаться все?»

Решая кардинальную проблему нашей эпохи в целом, говоря самому себе и окружающим, что делать, Крымов выносит в общий знаменатель сложнейшего уравнения то, что в разговоре с отцом сын Валентин выразил словами: «Ты хочешь в наш прагматический век, чтобы люди, бесильные мурвалышки, задумались о смысле жизни, о красоте, о душе друг друга?»

Последний внутренний монолог героя, изблуживший почти несоединимыми мыслями и заключениями, завершается ошеломляющими (правда, не произносимыми вслух) словами, обращенными к жене, дочери, сыну и Стишву: «Я не могу вам сказать ничего. Не могу прикоснуться к вам, успокоить. Но у меня уже нет желания жить».

ЧИТАТЕЛЬ, однако, ошибется, если увидит в них окончательный результат мучительных исканий Крымова.

Не меньшей ошибкой будет взгляд на роман как якобы песимистический только потому, что два самых светлых героя произведения гибнут. Такие упреки уже делались некоторыми потрясенными читателями. На мой взгляд, они несправедливы не только потому, что, как говорил на пленуме правления СП СССР в январе 1985 г. В. Карпов, положительное начало в романе несут также Ольга, Таня, Валентин Крымовы, Анастасия Стишова, но и потому, что, оказавшись почти в безысходной ситуации, предельно осложненной обстоятельствами, даже устав от жизни, Крымов в главном не отступил до конца — он остался до последнего вдоха верен чистым плодотворным началам жизни.

Окончательный смысл напряженнейших исканий Крымова, как уже сказано, не следует находить только в тех или иных высказываниях главного героя. Он — в сумме, получаемой после приведения к общему знаменателю всех слагаемых и вычитаемых в произведении, включая и речи Джона Гричмара, и скептические высказывания Валентины, и уважаемые Валентиной Стишовой, и непосредственные впечатления Тани, и бесчисленные афоризмы, украшающие речи почти всех героев. И — не только их речи, наблюдения, впечатления, а и судьбы в целом, начиная с судьбы Ирины Сковрцовой и кончая судьбой человечества на всей земле. В речах, наблюдениях, в судьбах героев немало случайного, подчас совершенно неприемлемого. Однако из столкновения порой взаимоисключающих мнений, помноженных на реальные судь-

бы людей, вырисовывается истина, к которой прорывается Крымов. К этому следует добавить: мы существенно обедим внутренний философско-этический потенциал романа, если не возьмем его в единстве с тем, что уже было дано Юрием Бондаревым в «Берег» и «Выбор». С ними «Игра» не связана ни сюжетно, ни общностью героев. И тем не менее эти романы должны браться как одно целое: они составляют трилогию, повествующую о состоянии мира во второй половине XX столетия, о его действительных радостях, горестях и почти неразрешимых конфликтах. Впрочем, если присмотреться внимательно, существует между ними и формальная связь, проявляющаяся как типологической родственности многих героев, так и объединяющей произведения в единое целое композиционной спирали. Восхождение, развитие по спирали наблюдается и в разработаных характерах, и в проблемном аспекте — постановке и решении жгучих вопросов нашего века, в формах их художественной разработки. Во внутренних монологх Крымова читатель без труда найдет переключку с мучительными размышлениями Никитина и Васильева. В «Игре» все начала и концы завязываются в один узел.

Незادолго до смерти Крымов говорит другу: «Дело, вероятно, в том, Толя, что каждому из нас при жизни не хватает воли быть самим собой. Мы играем заданную роль, а не живем естественно». Философско-нравственный категорический императив трилогии «Берег» — «Выбор» — «Игра» требует от каждого человека осознать, что наша эпоха исключает игру в жизнь, обязывает жить болями века своего, «болью жизни», сохраняя верность человеческому призванию, безоглядно защищая «страну сиену и весенней капели», приумножая добро и ни на минуту не забывая о том, что пока еще «царство добра знает предел, проявление зла не знает предела»; жить, а не играть в жизнь, соразмерять каждый поступок с самыми великими целями, с дальней звездой, перестав бояться времени, обстоятельств, перестав бояться за себя.